

Джон Леннон

Что я могу рассказать о себе такого, чего бы вы ещё не знали?

Я ношу очки. Родившись 9 октября 1940 года, я появился на свет вовсе не первым из "Битлз". Первым из нас родился Ринго — 7 июля 1940 года. Впрочем, к "Битлз" он присоединился позднее остальных, а до этого он не только отпустил бороду, но и успел поработать барабанщиком в кемпинге "Батлинз". Занимался он и другой ерундой, пока наконец не понял, что уготовила ему судьба.

Девяносто процентов жителей нашей планеты, особенно на Западе, родилось благодаря бутылке виски, выпитой субботним вечером; иметь таких детей никто не собирался. Девяносто процентов нас, людей появилось на свет случайно — я не знаю ни единого человека, который планировал обзавестись ребенком. Все мы — порождения субботних вечеров (80).

Моя мать была домохозяйкой. А еще она была комедийной актрисой и певицей — не профессиональной, но она часто выступала в пабах и тому подобных заведениях; Она неплохо пела, умела подражать Кей Старр. Одну песенку она часто пела, когда мне был один год или два. Это мелодия из диснеевского фильма: "Хочешь, я тебе открою тайну? Только никому не говори. Ты стоишь возле колодца желаний" (80).

Мои родители расстались, когда мне было четыре года, и я жил с тетей Мими (71).

Мими объяснила, что мои родители разлюбили друг друга. Она никогда ни в чем не обвиняла их. Вскоре я забыл отца. Как будто он умер. Но маму я вспоминало постоянно, моя любовь к ней никогда не умрет.

Я часто думал о ней, но долгое время не понимал, что она живет на расстоянии всего пяти или десяти миль от меня (67).

Моя семья состояла из пяти женщин. Пяти сильных, умных, красивых женщин, пяти сестер. Одной из них была моя мать. Маме жилось нелегко. Она была младшей, не могла воспитать меня одна, и потому я поселился у ее старшей сестры.

Это были удивительные женщины. Пожалуй, когда-нибудь я напишу о них что-нибудь вроде "Саги о Форсайтах", потому что именно они властвовали в семье (80).

Мужчины оставались невидимыми. Меня всегда окружали женщины. Я часто слушал их разговоры о мужчинах и жизни, они всегда были в курсе всех дел. А мужчины никогда ничего не знали. Так я получил свое первое, феминистское образование (80).

Больнее всего быть нежеланным, сознавать, что родители не нуждаются в тебе так, как ты нуждаешься в них. В детстве у меня бывали минуты, когда я упорно не замечал этой уродливости, не хотел видеть, что я нежеланный. Эта нехватка любви вливалась в мои глаза и в мой разум.

По-настоящему я никогда и никому не был нужен. Звездой я стал только потому, что сдерживал чувства. Ничто не помогло бы мне пережить все это, будь я "нормальным" (71).

Порой я даже радовался тому, что у меня нет родителей. Родные большинства моих друзей мало чем напоминали человеческие существа. Их головы были забиты мелочными буржуазными опасениями. А мою переполняли мои собственные мысли и идеи. Я жил развлекаясь и втайне мечтал найти того, с кем можно поделиться мыслями. Большинство людей я считал мертвыми. Немногих — полумертвыми. Любого пустяка хватало, чтобы рассмешить их (78).

Большинство людей всю жизнь находятся под чужим влиянием. Некоторые никак не могут понять, что родители продолжают мучать их, даже когда их детям переваливает за сорок или за пятьдесят. Их по-прежнему душат, распоряжаются их мыслями и разумом. Этого я никогда не боялся и никогда не пресмыкался перед родителями (80).

Пенни-Лейн — район, где я жил с матерью, отцом (впрочем, мой отец был матросом и почти все время проводил в море) и дедом. Мы жили на улице Ньюкасл-Роуд (80).

Это первый дом, который я помню. Удачный старт: красные кирпичные стены, гостиная, которой никогда не пользовались, задернутые шторы, картина с изображением коня и кареты на стене. Наверху помещалось только три спальни; окна одной выходили на улицу, второй — во двор, а между ними была еще одна крохотная комнатка (79).

Когда я расстался с Пенни-Лейн, я переселился к тете, которая тоже жила в пригороде, в стоящем на полуотшибе доме с маленьким садом. По соседству жили врачи, юристы и прочие люди такого сорта, поэтому пригород ничем не напоминал трущобы. Я был симпатичным, аккуратным

подстриженным мальчишкой из предместья, рос в окружении классом повыше, чем Пол, Джордж и Ринго, которые жили в муниципальных домах. У нас был собственный дом, свой сад, а у них ничего подобного не было. По сравнению с ними мне повезло. Только Ринго был настоящим городским мальчишкой. Он вырос в самом дрянном районе. Но его это не заботило; вероятно, там ему жилось веселее (64).

Вообще же первое, что я помню, это ночной кошмар (79).

Я вижу цветные сны, всегда сюрреалистичные. Мир моих сновидений похож на картины Иеронима Босха и Дали. Он нравится мне, я с нетерпением жду его каждый вечер (74).

Один из часто повторяющихся снов, который я вижу на протяжении всей жизни, — это полет. Я всегда летаю, когда мне грозит опасность. Помню, еще в детстве я летал во сне, будто плыл по воздуху. Обычно я летал над хорошо знакомыми местами, там, где я жил. А иногда мне снились кошмары, в которых на меня надвигался гигантский конь или еще что-нибудь страшное, а мне приходилось улетать. Когда такие сны мне снились в Ливерпуле, я объяснял их своим желанием покинуть город (71).

В самых ярких сновидениях я видел себя сидящим в самолете, который пролетал над каким-нибудь районом Ливерпуля. Впервые я увидел этот сон, когда учился в школе. Самолет летал над городом кругами, поднимаясь все выше и выше.

Еще в одном классном сне я нахожу тысячи монет достоинством полкроны. А иногда я нахожу в старых домах клады — такие огромные, что мне их не унести. Я рассовываю монеты по карманам, нагибаю полные пригоршни, складываю их в мешки, но мне никогда не удается унести с собой столько денег, сколько мне хочется. Наверное, этот сон — отражение неосознанного стремления возвыситься или вырваться из нищеты (66).

Поиски выхода снятся нам до тех пор, пока мы не находим его физически. Я его нашел (68).

К своему родному городу я отношусь точно так же, как любой другой человек. Я встречал людей, которые терпеть не могут города, где родились и выросли. Наверное, потому, что там им жилось паршиво. Мое детство в Ливерпуле было счастливым и здоровым, и мне нравится вспоминать о нем. Это не помешало мне уехать и жить в другом месте, и все-таки моим родным городом остается Ливерпуль (64).

В Ливерпуль съезжаются ирландцы, когда у них кончается картошка, здесь же оседают чернокожие и трудятся, как рабы. Среди нас было немало потомков ирландцев, негров, китайцев и так далее.

Ливерпуль — бедный, почти нищий город, здесь живется нелегко. Но его жителям присуще чувство юмора, потому что они часто страдают; они постоянно сыплют шутками. Ливерпульцы на редкость остроумны (70). А еще почти все они говорят немного в нос — наверное, из-за аденоидов (64).

Ливерпуль — второй по величине порт Англии. В XIX веке деньги делали на севере. Именно там жили отважные, грубоватые люди, среди которых часто попадались ничтожества. На нас, как на диковинных зверей, смотрели сверху вниз южане, лондонцы (70).

[В Вултоне] было два знаменитых дома. Один — принадлежащее Гладстону исправительное заведение для мальчиков — был виден из моего окна. А за углом стоял дом под названием "Земляничная поляна" — старый викторианский особняк, превращенный в сиротский приют Армии спасения (наверное, раньше здесь была ферма, где выращивали землянику). В детстве я часто бывал там на садовых праздниках вместе с моими друзьями — Айвенгом, Найджелом и Питом. Все мы подолгу болтались там и продавали лимонад в бутылках. Вот где всегда было весело! (80)

В детском саду я тосковал. Я был не такой, как остальные. Всю жизнь я был не таким, как все. Это не тот случай, когда "потом он закинулся кислотой и проснулся" или "затем он выкурил косячок и пришел в себя". Каждый пустяк имеет такое же значение, как все остальное. На меня оказывали влияние не только Льюис Кэрролл и Оскар Уайльд, но и малолетние хулиганы, росшие бок о бок со мной и рано или поздно угодившие за решетку. С той же проблемой я столкнулся, когда мне было пять лет: "Со мной что-то не так, потому что я вижу то, чего не видят остальные" (80).

Я всегда был домоседом — думаю, как и множество других музыкантов, ведь музыку пишешь и играешь дома. В детстве мне хотелось быть художником или писать стихи, чтобы всегда быть дома (80).

На чтение я тратил уйму времени. Мне никогда не надоедало сидеть дома. Это мне нравилось. Это я любил, наверное, потому, что рос единственным ребенком. Хотя у меня были сводные сестры, я жил один. Я играл сам с собой или сидел, уткнувшись носом в книгу (71).

Я всегда мечтал стать художником и жить в маленьком коттедже у пустынной дороги. Для меня главное — написать короткое стихотворение или несколько картин маслом. Это похоже на сон —

жить в коттедже и бродить по лесу (69).

Я обожал "Алису в стране чудес" и нарисовал все персонажи этой книги. Я писал стихи в стиле "Бармаглота". Мне нравилась и "Алиса", и "Просто Уильям". Я сам сочинял приключения Уильяма, только главным героем в них был я. И "Ветер в ивах" мне нравился. Прочитав эту книгу, я заново пережил ее. Это одна из причин, по которой в школе мне хотелось быть заводилой. Я хотел, чтобы все играли в те игры, в которые хотелось играть мне, в те, о которых я только что прочел (67).

На протяжении всех лет учебы в "Давдейле" [начальной школе] я дрался, побеждая тех, кто был сильнее, с помощью "психических атак". Я уверенно заявлял, что побью их, и они верили, что я на такое способен (67).

Поскольку я не был привязан к родителям, я умел оказывать влияние на других мальчишек. Это подарок, который мне достался, — отсутствие родителей. Я часто плакал оттого, что у меня их нет, но вместе с тем с радостью сознавал, что у меня не все так, как у других (80).

Однажды в меня стреляли за кражу яблок. Я часто подворовывал вместе с другом. А еще мы катались на задних буферах трамваев, ходивших по Пенни-Лейн, и проезжали целые мили, ничего не заплатив. Меня все время била дрожь — так мне было страшно. Однажды я вообще чуть не свалился, катаясь таким образом (67).

Среди своих сверстников я был большой шишкой. Я очень рано узнал уйму скабрзных шуток — их рассказывала мне девочка-соседка (67).

Никто не объяснял мне, что такое секс. Я узнал о нем из надписей на стенах. К восьми годам я уже знал все. Все демонстрировалось наглядно, все видели похабные рисунки, знали наперечет всевозможные извращения и гадости. Когда мы избавимся от угрызений совести и лицемерия, секс займет по праву принадлежащее ему место в обществе, станет неотъемлемой частью жизни.

Эдинбург — моя заветная мечта. Эдинбургский фестиваль и парад в замке. Туда съезжаются оркестры всех армий мира, маршируют и играют. Всем нравились американцы, потому что они классно держали ритм, но еще лучше играли шотландцы. Я помню, какой восторг охватывал меня, особенно в самом конце, когда выключали свет и один парень играл на волынке, освещенный одним-единственным прожектором. Вот это было да! (79)

С раннего детства я был музыкальным и до сих пор удивляюсь тому, что этого никто не замечал и ничего не предпринимал, — может, потому, что это была непозволительная роскошь (65).

[Однажды в детстве] я сам отправился в Эдинбург в гости к тете и всю дорогу играл в автобусе на губной гармошке. Водителю понравилось, и он пообещал завтра утром встретиться со мной в Эдинбурге и подарить мне новую, классную гармошку. Это ободрило меня. А еще у меня был маленький аккордеон, на котором я играл одной правой рукой. Я играл те же мелодии, что и на губной гармошке: "Шведскую рапсодию", "Мулен-Руж", "Зеленые рукава" (71).

Не помню, откуда она [губная гармоника] взялась у меня. Наверное, я выбрал самый дешевый из инструментов. Мы часто болтали со студентами, у одного из них была гармошка, и он сказал, что купит мне такую же, если к следующему утру я разучу песню. А я разучил целых две. В то время мне было лет восемь-двенадцать. Словом, я еще ходил в коротких штанишках.

В Англии есть экзамен, о котором каждому ребенку твердят с пятилетнего возраста. Он называется экзаменом для одиннадцатилетних. Если ты не сдашь экзамен для одиннадцатилетних, можешь считать, что твоя жизнь кончена. Это был единственный экзамен, который я когда-либо сдал, да и то с перепугу.

(После экзамена учитель обычно говорит, что теперь ты можешь делать все, что хочешь. И я начал рисовать.) (74)

Я смотрел на сотни незнакомых детей [в средней школе "Куорри-бэнк"] и думал: "Черт, с этой толпой мне придется драться всю жизнь", — совсем как в "Давдейле". Там было несколько настоящей крепкой. Первую же свою драку я проиграл. Я растерялся, когда мне стало понятно, что мне придется драться со всеми. Впрочем, все равно драться мне не пришлось: я только бранился, орал, пытался увернуться от ударов. Мы дрались до первой крови. С тех пор, когда мне казалось, что противник сильнее меня, я предлагал: "Давай лучше бороться..."

Я был агрессивным, потому что стремился к популярности. Мне хотелось быть лидером. Это лучше, чем всю жизнь оставаться размазней. Я хотел, чтобы все исполняли мои приказы, смеялись над моими шутками и считали меня главным. Поначалу я пытался вести себя как в "Давдейле". Там я хотя бы был честным, всегда во всем признавался. Но потом я понял, что это глупо, что этим я ничего не добьюсь. И я начал врать по любому поводу.

Мими только однажды выпорола меня — за то, что я стащил деньги у нее из сумочки. Я часто брал

у нее понемногу на всякие мелочи вроде машинок "Динки", а в тот день, должно быть, украл слишком много (67).

Когда мне было лет двенадцать, я часто думал о том, что я, наверное, гений, но этого никто не замечает. Я думал: "Я или гений, или сумасшедший. Который из них? Сумасшедшим я быть не могу, потому что не сижу в психушке. Значит, я гений". Я хочу сказать, что гениальность, видимо, одна из форм сумасшествия. Все мы такие, но я немного стеснялся этого, как, например, своей игры на гитаре. Если гении и существуют на свете, то я один из них. А если их не существует, мне все равно. Так я думал в детстве, когда писал стихи и рисовал картины. Таким я стал не потому, что появились "Битлз", — я всю жизнь был таким. А еще гениальность — это страдание. Просто страдание (70).

Я часто размышлял: "Почему я до сих пор не признан? Неужели никто не видит, что я умнее всех в этой школе?" (70)

Просматривая свой табель успеваемости, я видел одно и то же: "Слишком самодоволен и пытается скрыть это бесконечными шуточками" или: "Вечно о чем-то мечтает" (80).

Я мечтал все годы учебы в школе. Двадцать лет я пробыл в трансе, потому что невыносимо скучал. Из транса я выходил только вне школы — когда бывал в кино или просто гулял (80).

Я часто злил старших, цитируя иронические стихи "Счастливый бродяга" в самые неподходящие моменты. Они зачаровывали меня. Мне казалось, читать их — все равно что жевать шоколад во время молитвы или пытаться утопить инструктора по плаванию. Словом, это было идиотской, безрассудной выходкой (63).

Один учитель математики написал обо мне: "Если он не свернет с этой дорожки, то и впредь будет катиться по наклонной плоскости". Большинство учителей терпеть меня не могли, а я с радостью напоминал им о том, что они меня ненавидят.

Но в каждой школе был хотя бы один хороший учитель — обычно это был учитель рисования, английского языка или литературы. Я успевал по всем предметам, связанным с искусством или литературой, но то, что касалось естественных наук или математики, я никак не мог понять (71).

Когда мне было пятнадцать лет, я думал: "Разве не здорово будет, если я когда-нибудь вырвусь из Ливерпуля и стану богатым и знаменитым?" (75)

Мне хотелось написать "Алису в Стране Чудес", но стоит подумать: "Мне ни за что не превзойти Леонардо", — и постепенно склоняешься к мысли: "Что толку стараться?" Множество людей выстрадали больше, чем я, и многого добились (71).

Я бы не сказал, что я прирожденный писатель, — я прирожденный мыслитель. В школе меня всегда считали способным: когда от нас требовалось вообразить что-нибудь, вместо того чтобы зазубривать, я справлялся с заданием (64).

В школе мы много рисовали и раздавали эти рисунки. У нас слепые собаки были поводьями зрячих (65).

Наверное, у меня есть склонность к черному юмору. Это началось еще в школе. Как-то однажды мы возвращались домой после актового дня — торжественного школьного собрания в конце учебного года. Ливерпуль кишит калеками, люди ростом с метр обычно продают газеты. Прежде я никогда не обращал на них внимания, но в тот день они попадались повсюду. Это становилось все забавнее, и мы хохотали до упаду. По-моему, это один из способов скрыть свои чувства, замаскировать их. Обидеть калеку я не смог бы ни за что. Просто мы так шутили, таков был наш образ жизни (67).

Все дети рисуют и пишут стихи, некоторые занимаются этим до восемнадцати лет, но большинство перестают лет в двенадцать, услышав от кого-нибудь: "Ничего у тебя не выходит". Это нам твердят всю жизнь: "У тебя нет способностей. Ты сапожник". Такое случается со всеми, но если бы кто-нибудь постоянно повторял мне: "Да, ты великий художник", — я чувствовал бы себя гораздо более уверенным в себе (69).

Нам необходимо время, чтобы развиваться, надо поощрять нас заниматься тем, что нам интересно. Меня всегда интересовала живопись, я не утратил этого увлечения, но до него никому не было дела (67).

Когда меня спрашивали: "Кем ты хочешь стать?" — я отвечал: "Наверное, журналистом". Я ни за что не осмелился бы сказать "художником", потому что в том кругу, где я вырос, — так я объяснял тете, — о художниках читают, их картинами восхищаются в музеях, но никто не желает жить с ними в одном доме. Поэтому учителя говорили: "Выбери что-нибудь попроще". В свою очередь, я спрашивал: "А что я могу выбрать?" Мне предлагали стать ветеринаром, врачом, дантистом, юристом. Но я знал, что об этом мне нечего и мечтать. Выбирать мне было не из чего (80).

В пятидесятые годы популярностью пользовались ученые. А всех людей искусства считали шпионами и продолжают считать (80).

Даже в школе искусств из меня пытались сделать учителя, отговаривали меня заниматься живописью и твердили: "Почему бы тебе не стать учителем? Тогда по воскресеньям ты смог бы рисовать". Но я наотрез отказывался (71).

В школе я узнал, насколько несправедливо общество. Я бунтовал, как все мои сверстники, все те, кто не вписывался в школьные рамки, и потому в каждом моем табеле из школы "Куорри-бэнк" можно найти слова: "Способный, но не старательный". Я был на редкость агрессивным школьником. Я один из типичных героев, представителей рабочего класса. Я был таким же революционером, как Д. Г. Лоуренс: я не верил в классы и боролся против классовой структуры общества (69).

Я всегда был бунтарем, потому что все, что касалось общества, становилось для меня поводом для мятежа. С другой стороны, я хотел, чтобы меня любили и признавали. Потому я и оказался на сцене, словно дрессированная блоха. Мне просто хотелось быть чем-то. Отчасти я мечтал о признании во всех слоях общества и не желал быть только крикуном, безумцем, поэтом и музыкантом. Но нельзя быть тем, кем ты не являешься. Так что же делать, черт возьми? Ты хочешь быть, но не можешь просто потому, что не можешь (80).

В школе я был задирой, но умел и притворяться задиристым. Этим я часто навлекал на себя неприятности. Я одевался, как стилига, но, когда попадал в опасные районы и сталкивался с настоящими стилигами, мне явно грозила опасность. В школе все было проще: я сам контролировал ситуацию и делал все, чтобы все считали меня грубее, чем есть на самом деле. Это была игра. Мы обворовывали магазины и тому подобное, но не совершали по-настоящему серьезных преступлений. Ливерпуль — суровый город. Там жило множество настоящих стилиг, которым было лет по двадцать. Они работали в доках. Нам же было всего по пятнадцать, мы оставались детьми, а у них были ножи, ремни с пряжками, велосипедные цепи и настоящее оружие. С такими противниками мы никогда не связывались, а если случайно сталкивались с ними, то я и мои товарищи просто убегали (75).

Банда, которую я собрал, промышляла магазинными кражами и стаскивала трусики с девчонок. Когда нас ловили с поличным, попадались все, кроме меня. Иногда мне становилось страшно, но из наших родителей только Мими ни о чем не подозревала. Большинство учителей ненавидело меня всей душой. Я вырос, наши выходки становились все отчаяннее. Теперь мы не просто тайком набивали карманы конфетами в магазинах — мы ухитрились утащить столько, что потом перепродавали краденое, к примеру сигареты (67).

На самом деле никакой я не крутой. Но мне всегда приходилось носить маску крутого, это была моя защита от других. На самом деле я очень ранимый и слабый (71).

Пожалуй, у меня было счастливое детство. Я вырос агрессивным, но никогда не чувствовал себя несчастным. Я часто смеялся (67).

Мы [муж Мими и я] неплохо ладили. Он был славным и добрым. [Когда] он умер, я не знал, как вести себя в присутствии людей, что делать, что говорить, и потому убежал наверх. А потом пришла моя кузина и тоже спряталась наверх. С нами случилась истерика. Мы смеялись как сумасшедшие. А потом мне было очень стыдно (67).

Мими по-своему воспитывала меня. Она хотела сохранить дом и, чтобы не разориться, сдавала комнаты студентам.

Она всегда хотела, чтобы я стал регбистом или фармацевтом. А я писал стихи и пел с тех пор, как поселился у нее. Я постоянно спорил с ней и твердил: "Послушай, я художник, не приставай ко мне со всякой математикой. Даже не пытайся сделать из меня фармацевта или ветеринара — на такое я не способен".

Я часто повторял: "Не трогай мои бумаги". Однажды, когда мне было четырнадцать лет, я вернулся домой и обнаружил, что она перерыла все мои вещи и выбросила все стихи. И я сказал: "Когда я стану знаменитым, ты еще пожалеешь о том, что натворила" (72).

Я не раз слышал такие стишки... ну, от которых сразу возбуждаешься. Мне стало интересно узнать, кто их пишет, и однажды я решил попробовать написать такой стих сам. Мими нашла его у меня под подушкой. Я объяснил, что переписал его специально для одного мальчишки, у которого плохой почерк. Но на самом деле, конечно, я написал его сам (67).

Когда я сочинял серьезные стихи, а позднее стал изливать свои чувства, я записывал их тайным почерком, каракулями, чтобы Мими не смогла разобрать его (67).

Моя мать [Джулия] однажды зашла к нам. Она была в черном пальто, по ее лицу текла кровь. С ней что-то случилось. Этого я не вынес. Я думал: "Вот мама, и у нее все лицо в крови". Я убежал в сад. Я

любил ее, но не хотел вникать, что к чему. Наверное, в нравственном отношении я был трусом. Я стремился скрывать свои чувства (67).

Джулия подарила мне первую цветную рубашку. Я начал бывать у нее дома, познакомился с ее новым приятелем и понял, что он ничтожество. Я прозвал его Психом. Для меня Джулия стала чем-то вроде молодой тети или старшей сестры. Взрослея, я все чаще ссорился с Мими и потому на выходные уходил к Джулии (67).

[Психа звали] Роберт Дайкинс или Бобби Дайкинс. Этот ее второй муж — так и не знаю, вышла она за него замуж или нет, — был тощим официантом с нервным кашлем и редующими, смазанными маргарином волосами. Перед уходом из дома он всегда совал руку в банку с маргарином или маслом, обычно с маргарином, и мазал им волосы. Чаевые он хранил в большой жестяной банке, стоящей на кухонном шкафу, и я воровал их оттуда. Кажется, мама всегда брала вину на себя. Ну хотя бы эту малость она могла для меня сделать (79).

Я часто мечтал о женщине, которая была бы красивой, умной, темноволосой, с высокими скулами. Она должна была быть независимой художницей (а la Джульетт Греко), моей родственной душой, человек, с которым я уже знаком, но с которым нам пришлось расстаться. Конечно, как у любого подростка, главное место в моих сексуальных фантазиях занимала Анита Экберг и ей подобные крепкие нордические богини. Так было, пока в конце пятидесятых я не влюбился в Брижит Бардо. (Всех своих темноволосых подружек я настойчиво уговаривал стать похожими на Брижит. Когда я впервые женился, моя жена, волосы которой были золотисто-каштановыми, преобразилась в длинноволосую блондинку с обязательной челкой. Несколько лет спустя я познакомился с настоящей Брижит. Я сидел тогда на кислоте, а она уже лечилась.) (78)

Я вычитал у одного парня, что сексуальные фантазии и желания — это и есть то, что составляло его жизнь. Когда ему было двадцать, а потом тридцать лет, он думал, что с возрастом это пройдет. Так же он думал, когда ему минуло сорок, но ошибся. То же самое продолжалось и в шестьдесят, и в семьдесят лет, и даже когда он уже был импотентом. И я подумал: "Дьявол!" — потому что тоже надеялся, что мои фантазии иссякнут, но теперь понял, что они будут продолжаться вечно. "Вечно" — слишком сильное слово. Скажем лучше, что фантазии не прекратятся, пока дух не покинет тело. Будем надеяться. Возможно, вся задача в том, чтобы обуздать их до ухода из жизни, иначе пришлось бы снова возвращаться сюда (а кому охота возвращаться, только чтобы кончать?) (79).

Помню, когда я был подростком, однажды вечером, а точнее, днем я трахался с подружкой на могильной плите, а мою задницу облепила гля. Это был хороший урок кармы и/или садоводства. Барбара, где ты теперь? Наверное, ты стала толстой и уродливой и у тебя пятнадцать детишек? После встречи со мной ты была ко всему готова. Печально то, что прошлое проходит. Хотел бы я знать, кто сейчас целует ее (78).

В нашем воображении Америка рисовалась страной молодежи. В Америке были тинейджеры, а в остальных странах — просто люди (66).

Все мы знали Америку, все до единого. В детстве мы смотрели каждый американский фильм — диснеевские картины, фильмы с Дорис Дэй, Рокм Хадсоном, Джеймсом Дином или Мэрилин. Все лучшее было американским: кока-кола, кетчуп "Хайнц", а я-то, пока не побывал в Америке, считал, что кетчуп "Хайнц" делают в Англии.

Пока не появился рок-н-ролл, почти вся музыка тоже была американской. Мы знали и наших артистов, но все известные звезды были из Америки. Американцы приезжали выступать в лондонский "Палладиум". Без участия американских актеров не снималась ни одна английская картина, даже фильмы класса Б, потому что иначе никто не стал бы их смотреть. А если найти американцев не удавалось, приглашали сниматься канадцев (75).

Английских пластинок не существовало вообще. По-моему, первой английской пластинкой стала "Move It" Клиффа Ричарда, а до нее не было ничего (73).

Ливерпуль — город космополитов. Возвращаясь домой, моряки привозили блюзовые пластинки из Америки (70). Мы слушали в Ливерпуле старые записи в стиле фанк-блюз, о которых понятия не имели другие жители Великобритании, а заодно всей Европы, за исключением жителей портовых городов.

Больше всего английских последователей кантри-энд-вестерна живет в Лондоне и Ливерпуле. Музыку в стиле кантри-энд-вестерн я услышал в Ливерпуле раньше, чем рок-н-ролл. Тамашние люди, как и ирландцы в Ирландии, очень серьезно относятся к своей музыке. Еще до появления рок-н-ролла в Ливерпуле были известные клубы фолка, блюза и кантри-энд-вестерна (70).

В детстве мы все были настроены против народных песен, потому что они пользовались популярностью у среднего класса. Все студенты колледжа в длинных шарфах и с кружкой пива в

руках распевали жеманными голосами "Я работал в шахте в Ньюкасле" и тому подобную ерунду. Настоящие исполнители в стиле фолк были все наперечет, хотя мне немного нравился Доминик Бехан, а в Ливерпуле можно было услышать совсем неплохие мелодии. Иногда по радио или телевидению передавали очень старые записи песен настоящих ирландских рабочих, и впечатление было потрясающим. Но в основном фолк пели люди с приторно-сладкими голосами, пытаюсь оживить то, что уже давно отжило и умерло. Все это выглядело скучновато, как балет: музыку меньшинства исполняло такое же меньшинство. Сегодня музыка в стиле фолк — это рок-н-ролл (71).

Фолк-исполнитель — это не певец с акустической гитарой, поющий о шахтах и железных дорогах. Ничего подобного мы больше не поем. Теперь мы поем о карме, мире, о чем угодно (70).

В нашей семье радио слушали редко, поэтому к музыке в стиле поп я привык позднее, в отличие от Пола и Джорджа, которые выросли на поп-музыке, — ее постоянно транслировали по радио. А я слушал ее только у кого-то в гостях (71).

Эпоха Билла Хейли обошла меня стороной. Когда по радио передавали его записи, мать начинала танцевать, ей нравилась эта музыка. Я часто слышал ее, но для меня она ничего не значила (63).

С Элвисом Пресли меня познакомил мой приятель Дон Битти. Он показал мне номер "New Musical Express" ("Новый музыкальный экспресс") и заявил, что он великий. Речь шла о песне "Heartbreak Hotel" ("Отель разбитых сердец"). Я решил, что ее название звучит фальшиво.

В музыкальных изданиях писали, что Пресли бесподобен, и поначалу я воспринимал его как Перри Комо или Синатру. Название "Heartbreak Hotel" казалось в то время слащавым, а само имя Пресли — странным. А потом, когда я услышал эту песню, я забыл о том, как относился к ней раньше. Впервые я прослушал ее по "Радио-Люксембург". Пресли и вправду оказался удивительным. Помню, как я прибежал домой с пластинкой и выпалил: "Он поет, как Фрэнки Лейн, Джонни Рей и Теннесси Эрни Форд!" (71)

Я поклонник Элвиса, потому что именно Элвис вытащил меня из Ливерпуля. Как только я услышал его и проникся его песнями, они стали для меня самой жизнью. Я не думал ни о чем, кроме рок-н-ролла, если не считать секса, еды и денег, хотя на самом деле все это одно и то же (75).

Рок-н-ролл пытались искоренить с тех пор, как он появился. В основном против рок-н-ролла выступали родители. Слова песен в те времена часто звучали двусмысленно.

Многое было исправлено и подчищено специально для белых слушателей. Песни чернокожих очень сексуальны. Так была сделана новая запись песни Литтл Ричарда "Tutti Frutti". Мало-помалу избавлялись от множества слов. Элвис пел песню "One Night With You" ("Одна ночь с тобой"). А в оригинале она звучала как "One Night Of Sin" ("Одна ночь греха") — "Я молюсь только об одной ночи греха". Это отличные, уличные слова или слова чернокожих (75).

С тех пор как я впервые услышал рок-н-ролл, все говорили, что он долго не протянет, в газетах часто писали, что он уже умирает. Но он никогда не умрет. Это стало ясно, как только он появился. Он вырос из блюза, ритм-энд-блюза, джаза и кантри. Это соединение музыки черных и белых. Именно поэтому она так популярна (75).

Когда мне было лет шестнадцать, я слушал с начала до конца только два великих альбома. Одним из них был первый или второй альбом Карла Перкинса — не помню точно, который. А вторым — дебютный альбом Элвиса. В них мне нравилась каждая песня (80).

Когда я слушаю песни "Ready Teddy" ("Шустрый Тедди") и "Rip It Up" ("Круто гульнем"), я вспоминаю, как слушал пластинки в юности. Помню, как выглядела американская этикетка фирмы "Лондон". Помню, как я дал послушать пластинку моей тете и она спросила: "Что это?" А еще я вспоминаю дансинги, где все мы танцевали (75).

Бадди Холли был великим и носил очки, что мне нравилось, хотя сам я долго стеснялся надевать их в присутствии людей. А еще мы, англичане, заметили, что Бадди Холли умеет петь и играть одновременно — не просто брэнчать, а по-настоящему играть мелодии. С ним я так и не познакомился — я был еще слишком молод. Я никогда не видел его живым. Зато я видел Эдди Кокрена. Я видел и Джина Винсента, и Литтл Ричарда, но познакомился с ними позднее. Эдди Кокрен — единственный из певцов, которого я видел как поклонник, просто сидя в зрительном зале (75).

Литтл Ричард — одна из знаменитостей на все времена. Впервые я услышал его после того, как один мой приятель побывал в Голландии и привез пластинку, на одной стороне которой была записана песня "Long Tall Sally" ("Длинная Салли"), а на другой — "Slippin' And Slidin'" ("Ты прячешься и ускользаешь от меня"). Она поразила нас: за всю свою жизнь мы не слышали, чтобы кто-нибудь так пел, а саксофоны играли так классно.

Лучше всего в раннем Литтл Ричарде было то, что перед инструментальным проигрышем он мог так истошно завопить, что просто волосы вставали дыбом, когда он выпускал этот протяжный, бесконечный вопль (69).

Я до сих пор люблю Литтл Ричарда и Джерри Ли Льюиса. Они чем-то похожи на художников-примитивистов. Чак Берри — один из величайших поэтов на все времена, его можно назвать рок-поэтом. Он знал толк в лирике и заметно опередил свое время. Все мы многим обязаны ему, в том числе и Дилан. Мне нравилось все, что он когда-либо делал. Он принадлежал к другой категории исполнителей, чтит традиции блюза, но на самом деле писал свое, как и Ричард, но у Берри получалось лучше. Его стихи неподражаемы, хотя половину из них мы не понимали (70).

В пятидесятые годы, когда люди пели ни о чем, Чак Берри писал социальные песни с бесподобным размером стихов. Когда я слышу рок, хороший рок класса Чака Берри, я просто теряю голову и забываю обо всем на свете. Пусть наступит конец света, лишь бы играл рок-н-ролл. Это моя болезнь (72).

Эта музыка вывела меня из английской провинции в большой мир. Вот благодаря чему я стал таким, какой я сейчас. Не знаю, что стало бы с нами без рок-н-ролла, и я по-настоящему люблю его (75).

Рок-н-ролл был настоящим, в отличие от всего остального. Только он помог мне пережить все, что случилось, когда мне было пятнадцать лет (70).

Я понятия не имел, что сочинение музыки может быть образом жизни, пока рок-н-ролл не потряс меня. Именно он вдохновил меня заняться музыкой (80).

Когда мне исполнилось шестнадцать, мама научила меня кое-чему. Сначала она показала мне аккорды на банджо — вот почему на ранних снимках я беру на гитаре нелепые аккорды. Лишь потом я дорос до гитары (72).

Помню первую гитару, которую я увидел. Она принадлежала парню, который жил в окрестностях Ливерпуля и носил ковбойский костюм со звездами и ковбойскую шляпу; у него была большая гитара "Добро". Он был похож на настоящего ковбоя и относился к этому серьезно. Ковбои появились в нашей жизни задолго до рок-н-ролла (70).

Поначалу я играл на чужих гитарах. Я еще не умел играть толком, когда мама заказала мне гитару по каталогу. Гитара была обшарпанной, но я постоянно упражнялся на ней (63).

Я играл на гитаре, как на банджо, не пользуясь шестой струной. Моя первая гитара стоила десять фунтов стерлингов. Мне был нужен лишь аккомпанемент, я лишь подыгрывал себе (64).

Когда у меня появилась гитара, некоторое время я играл на ней, потом бросил, а затем начал снова. Мне понадобилось два года, чтобы научиться брэнчать мелодии, не задумываясь. Кажется, я даже взял один урок, но все это настолько напоминало мне о школе, что я бросил это дело. Я учился как попало, хватая крупницы знаний там и сям. Одной из первых я разучил песню "Ain't That A Shame" ("Какая досада"), с ней у меня связано много воспоминаний. Потом я выучил "That'll Be The Day" ("Настанет день"), разучил сольные партии из "Johnny B. Goode" ("Джонни Б. Гуд") и "Carol" ("Кэрол"), но так и не сумел выучить "Blue Suede Shoes" ("Синие замшевые туфли"). В те времена я восхищался Чаком Берри, Скотти Муром и Карлом Перкинсом (71).

Я навсегда запомнил слова Мими: "Игра на гитаре — отличное хобби, Джон, но на жизнь этим не заработать" (фаны из Америки потом выгравировали эти слова на стальной доске и прислали Мими, а она повесила эту доску в доме, который я купил для нее, и часто перечитывала свои слова) (72).

Примерно во времена рок-н-ролла в Великобритании — кажется, мне тогда было лет пятнадцать, значит, шел 1955 год — был популярен скиффл, одна из разновидностей фолк-музыки, американский фолк, который играли на стиральных досках, и многие подростки старше пятнадцати лет создавали свои скиффл-группы (64).

Я часто слушаю музыку в стиле кантри. Я даже подражал Хэнку Уильямсу когда мне было пятнадцать, еще до того, как я научился играть на гитаре, а у моего друга она уже была. Я часто бывал у него в гостях, потому что у него был проигрыватель, и мы пели песни Лонни Донегана и Хэнка Уильяма. Все эти пластинки были у моего друга. Я часто пел "Honky Tonk Blues" ("Хонки-тонк-блюз"). Пресли пел ее в стиле кантри-рок. А Карл Перкинс — как чисто кантри, с ярко выраженной ритмической основой (73).

В конце концов мы собрали в школе свою группу. Парень, которому пришла в голову эта мысль, в группу так и не вошел. Впервые мы встретились у него дома. Эрик Гриффите играл на гитаре, Пит Шоттон — на стиральной доске, Лен Гэрри и Колин Хэнтон — на ударных, Род [Дэвис] — на банджо. С нами был еще Айвен Воан. Айвен учился в одной школе с Полом.

В первый раз мы выступили на Роузбери-стрит в честь празднования Дня империи (24 мая, в день рождения королевы Виктории). Танцы устроили прямо на улице. Мы играли, стоя в кузове грузовика. Нам ничего не заплатили. После этого мы часто играли на вечеринках, иногда получали несколько шиллингов, но чаще играли просто ради развлечения. Нам было неважно, платят нам или нет (67).

"Куорримен" ("Каменотесы") — так называлась группа, прежде чем мы придумали название "Битлз". Поначалу мы назвали ее в честь школы, в которой я учился, — "Куорри-бэнк". Латинский девиз школы гласил: "В этом камне (символические слова: "камень" — "госк") будет найдена истина".

Мы постоянно проваливались на экзаменах, никогда не утруждали себя, и Пит всегда тревожился о своем будущем. А я говорил: "Не бойся, все уладится", — и ему, и всей своей шайке. Меня всегда окружали трое, четверо или пятеро парней, которые играли разные роли в моей жизни, иногда поддерживая меня, иногда пресмыкаясь предо мной. В общем, я был хулиганом. "Битлз" стали моей новой бандой.

Я твердо верил, что все может измениться к лучшему. Я не строил планы на будущее, не готовился к экзаменам. Я ничего не откладывал на черный день, на это я был не способен. Поэтому родители других мальчишек говорили обо мне: "Держись от него подальше". Они знали, каков я на самом деле. Эти родители чуяли во мне смутьяна, догадывались, что я не подчиняюсь правилам и дурно влияю на их детей, что я и делал. Я делал все возможное, чтобы поссорить всех моих друзей с их родителями. Отчасти из зависти, поскольку у меня не было дома в привычном понимании этого слова. (Впрочем, дом у меня был. Я жил с тетей и дядей в хорошем доме в пригороде. Я вовсе не был сиротой: тетя и дядя оберегали меня и искренне заботились обо мне.) (80)

Пожалуй, я был слишком распущенным и необузданным. Я просто плыл по течению. В школе я не учил уроки, а когда пришло время сдавать экзамены на аттестат зрелости, я провалился. Во время предэкзаменационной проверки я легко сдал английский и рисование, но настоящий экзамен не сдал даже по рисованию (65).

Я был разочарован тем, что не сдал рисование, но смирился. Учителя требовали от нас прежде всего аккуратности. А я никогда не был аккуратным. Я смешивал вместе все краски. Однажды нам предложили нарисовать путешествие. Я изобразил горбуна, сплошь покрытого бородавками. Ясное дело, учитель в мой рисунок не врубился (67).

Мы знали, что аттестат зрелости открывает далеко не все двери. Конечно, после экзаменов на аттестат любой мог продолжать учебу, но только не я. Я верил, что произойдет что-то важное, что мне придется пережить, и это важное — вовсе не экзамены на аттестат зрелости. До пятнадцати лет я почти ничем не отличался от любого другого мальчишки. А потом я решил написать песенку — и написал ее. Но и это ничего не изменило. Это чушь, будто бы я открыл в себе талант. Я просто начал писать. Таланта у меня нет, просто я умею радоваться жизни и сачковать (67).

Я всегда считал, что стану знаменитым художником и, возможно, мне придется жениться на богатой старухе или жить с женщиной, которые будут заботиться обо мне, чтобы я мог заниматься живописью. Но потом появился рок-н-ролл, и я подумал: "Ага, вот оно. Значит, мне вовсе незачем на ком-то жениться и с кем-то жить" (75).

Но на самом деле я не знал, кем хочу быть, разве что мечтал умереть эксцентричным миллионером. Я должен был стать миллионером. Если ради этого придется забыть о честности, значит, я о ней забуду. К этому я был готов, ведь никто не собирался платить деньги за мои картины.

Однако мне мешала трусость. Ничего подобного я бы никогда не смог сделать. Помню, как я собирался ограбить магазин вместе с одним парнем, и сделать это исключительно ради разнообразия, чтобы промышлять не только мелкими кражами. Мы часто бродили вокруг магазинов по вечерам, но так и не решились ограбить какой-нибудь из них (67).

Мими сказала, что я наконец-то добился своего: превратился в настоящего стилиягу. Теперь я вызывал отвращение у всех, а не только у Мими. В тот день я познакомился с Полом (67).

Меня познакомил с ним Айвен. Похоже, Айвен знал, что Пол давно увлекается музыкой, и решил, что было бы неплохо иметь в группе такого парня. Поэтому однажды, когда мы играли в Вултоне, Айвен привел Пола. Мы оба хорошо помним эту встречу. "Куорримен" играли на помосте, перед которым собралась целая толпа, потому что день был теплым и солнечным (63).

[В этот день] мы впервые играли "Be Vor A Lula" ("Би-Боп-А-Лула") вживую на сцене (80). "Be Vor A Lula" всегда была одной из моих самых любимых песен. Был праздник в церковном саду, и я выступал вместе с моим другом и другом Пола. Еще один общий друг, который жил по соседству, привел Пола и сказал: "Вы с ним поладите" (75). После выступления мы разговорились, и я понял, что у него талант. За кулисами он сыграл на гитаре "Twenty Flight Rock" ("Рок на площадке двадцатого этажа") Эдди Кокрена (80).

Пол умел играть на гитаре, трубе и пианино. Это еще не значило, что у него талант, но его музыкальное образование было лучше моего. К тому времени, как мы познакомились, я умел играть только на губной гармошке и знал всего два гитарных аккорда. Я настраивал гитару, как банджо, и потому играл только на пяти струнах. (Пол научил меня играть правильно, но мне пришлось заучивать аккорды в зеркальном отображении, потому что Пол левша. Я запоминал их в перевернутом виде, а потом приходил домой и подстраивал под себя каждый из показанных аккордов.) Так вот, играя на сцене с группой, брэнчал на пятиструнной гитаре, как на банджо, когда он вышел мне навстречу из толпы слушателей (80).

Пол объяснил мне, что аккорды, которые я беру, не настоящие аккорды, а его отец и вовсе заявил, что это даже не аккорды для банджо, хотя я считал их таковыми. В то время у Пола была хорошая гитара, она стояла около четырнадцати фунтов. Пол выменял ее на трубу, которую подарил ему отец (71).

Слышав, как Пол играет "Twenty Flight Rock", я был потрясен. Он действительно умел играть на гитаре. Я чуть было не подумал: "Он играет не хуже меня". До сих пор в группе я был главным. И я задумался: "Что будет, если я возьму его в группу?" Я понял, что мне придется держать его в подчинении, если он начнет играть с нами. Но он играл хорошо, поэтому попробовать стоило. А еще он был похож на Элвиса. Я оценил его (67).

Хорошо ли иметь в группе парня, который играет лучше всех остальных? Станет ли при этом группа сильнее или сильнее стану только я? Вместо того чтобы оставаться индивидуальностями, мы выбрали самый надежный способ — стали равными (70).

Во время первой же встречи я повернулся к нему и спросил: "Хочешь играть с нами?" Насколько я помню, на следующий день он ответил "да" (80).

У Пола была труба, он вбил себе в голову, что умеет играть старую вещь "When The Saints Go Marching In" ("Когда маршируют святые"). Но он только изо всех сил дул в трубу, заглушая нас. Он думал, что точно подобрал мелодию, но мы ее даже не узнали! (63)

А потом Пол привел Джорджа (80).

Пол познакомил меня с Джорджем, и мне пришлось решать, брать Джорджа в группу или нет. Послушав, как он играет, я велел: "Сыграй "Raunchy" ("Грязный)". Я взял его в группу, нас стало трое, а остальные постепенно разбежались (70).

Я предложил Джорджу присоединиться к нам, потому что он знал много аккордов — гораздо больше, чем знали мы. У него мы многому научились. У Пола в школе был друг, который сам придумывал новые аккорды, а потом они расходились по всему Ливерпулю. Каждый раз, узнавая новый аккорд, мы сочиняли вокруг него целую песню.

Мы часто прогуливали уроки и собирались днем дома у Джорджа. Джордж выглядел еще младше, чем Пол, а Полу, с его детской мордашкой, на вид можно было дать лет десять.

Это было уже слишком. Джордж казался совсем ребенком. Поначалу я ничего не хотел замечать. Хотя он работал рассыльным, выглядел он совсем по-детски. Однажды он закончил работу и предложил мне сходить в кино, но я сделал вид, будто очень занят. Я не признавал его, пока не познакомился с ним поближе. Мими часто говорила, что у Джорджа настоящий низкий гнусавый ливерпульский голос. Она повторяла: "Тебя всегда тянуло к низшим классам, Джон" (67).

Мы с Полом сразу спелись. Меня немного тревожило то, что мои давние друзья уходили, а в группе появлялись новые люди, такие, как Пол и Джордж, но скоро мы привыкли друг к другу. Мы начали исполнять классные ритмичные вещи, такие, как "Twenty Flight Rock". Забавно, ведь мы по-прежнему считались скиффл-группой. Моим лучшим номером стала песня "Let's Have a Party" ("Устроим праздник") (63).

Репетировать, готовясь к случайным концертам, было незачем. Но мы продолжали играть вместе ради развлечения. Обычно мы собирались у кого-нибудь дома. Мы часто слушали проигрыватель, ставили новые американские хиты. А потом сами пытались добиться такого же звучания (63).

Когда играешь в каком-нибудь дансинге, то становишься поперек дороги настоящим стилигам, ведь все девчонки смотрят только на группу: у музыкантов бачки, прически, они стоят на сцене. И тогда парни сговаривались отлупить нас. Поэтому в пятнадцать, шестнадцать и семнадцать лет мы занимались в основном тем, что удирали, зажав под мышками инструменты. Барабанщика ловили чаще, чем остальных, — ударную установку тяжело тащить. Мы убегали со всех ног и прыгали в автобус, потому что машины у нас не было. Обычно я успевал вскочить в автобус вместе с гитарой, а басиста с инструментом в футляре ловили. Тогда мы бросали преследователям бас или шляпу, и, пока они топтали их, мы спасались бегством (75).

Закончив школу "Куорри-бэнк", я поступил в Ливерпульский колледж искусств, надеясь, что когда-

нибуть смогу рисовать шикарных девчонок для рекламы зубной пасты (63).

Если бы меня спросили, хотел бы я вернуться в прошлое, я ответил бы, что мне хватило и того, что я уже однажды побывал там. У меня остались о нем неплохие воспоминания, хотя их и не так много.

Директор школы "Куорри-бэнк", Побджой, посоветовал мне поступить в колледж искусств. Он говорил: "Если он туда не поступит, его жизнь пройдет даром". Поэтому Побджой помог мне. У меня развилось чувство юмора, я знакомился с известными людьми, смеялся и играл рок-н-ролл (само собой, рок-н-ролл я играл все годы учебы в средней школе, ведь это было основное музыкальное направление) (64).

Опыта мне не хватало. Я знал, что столкнусь с толпой стариков, но считал, что должен все-таки попытаться стать кем-то. Пять лет я изучал коммерческое искусство (63).

Я занимался искусством только потому, что считал, что у меня нет другого выхода, что больше я ни на что не способен. Но и там я не преуспел — из-за лени (64).

От свободной жизни в колледже я чуть не свихнулся.

Я уже изучал живопись, а Пол и Джордж еще учились в средней школе. Между учебой в колледже и учебой в школе есть огромная разница. Я уже занимался сексом, уже выпивал и делал еще много чего другого (80).

Когда я появился в колледже искусств, меня сразу приняли за стилиягу. Потом я стал больше похож на художника, как все другие ученики колледжа, но по-прежнему одевался, как стилияга, во все черное и узкие брюки. Я подражал стилиягам, но всегда разрывался между образами стилияги и художника. Одну неделю я являлся на занятия в шарфе, не зачесав волосы назад, а на следующую снова надевал кожаный пиджак и тесные джинсы (73).

Артур Баллард, один из преподавателей, советовал мне не носить такие тесные брюки. Он был славным малым, этот Артур Баллард, вступался за меня, когда меня хотели исключить. Но на самом деле я был не стилиягой, я был рокером. А стилиягой я только притворялся.

Работать я никогда не любил. Мне следовало бы стать иллюстратором или продолжать учиться живописи, ведь это было здорово. Но мне приходилось писать буквы. Я ни на что не годился, поэтому мне поручали такую работу. Писать буквы требовали аккуратно. С таким же успехом мне могли бы поручить прыгать с парашютом. Я заваливал все экзамены и продолжал торчать в колледже только потому, что это было лучше, чем работать (67).

Я считал, что писать абстракции очень легко, и сажал повсюду пятна краски, а мне говорили, что это дрянь. Я требовал: "Докажите!" — и мне легко доказывали (64).

Я продолжал учиться рисовать. На самом деле я был не художником, а книжным иллюстратором. Но работа иллюстратора меня не увлекала. В школе я любил рисовать, потому что это было забавно. Все мои друзья вращались в этом кругу, они часто устраивали вечеринки. Мне хотелось быть художником, но я им так и не стал. Такая карьера не принесла бы мне никакой пользы (65).

Но мне всегда казалось, что я выкарабкаюсь. Бывали и минуты сомнений, но я твердо знал, что в конце концов случится что-нибудь важное (67).

Когда мне было семнадцать, я думал: "Хорошо бы случилось какое-нибудь землетрясение или революция". Иди и кради, что хочешь. Будь мне в тот момент семнадцать, так бы я и поступил, — что было бы терять? Вот и теперь я ничего не терял. Я не хочу умирать, не хочу терпеть физическую боль, но, если мир взорвется, наша боль прекратится. Проблемы исчезнут сами собой (70).

Те выходные я провел у Джулии и Психа. Полицейский пришел к нам и сообщил о несчастном случае. Все было как в кино: он спросил, не сыном ли я прихожусь Джулии, ну и все такое. А потом он все объяснил, и мы оба побледили (67).

Ее убил сменившийся с дежурства пьяный полицейский, после того как она зашла к тете навестить меня. Меня она не застала, а когда стояла на автобусной остановке, он сбил ее машиной (80).

Ничего более ужасного со мной никогда не случилось. За последние годы я успел привязаться к Джулии, мы понимали друг друга, нам нравилось бывать вместе. Я высоко ценил ее. И я думал: "Черт, черт, черт! Как все паршиво! Теперь я никому и ничем не обязан". Психу пришлось хуже, чем мне. А потом он спросил: "Кто же теперь будет присматривать за детьми?" И я возненавидел его. Проклятый эгоист.

Мы доехали на такси до больницы "Сефтон-Дженерал", куда ее отвезли. Мне не хотелось видеть ее. Всю дорогу я нервно болтал с шофером, раздражаясь тирадами одна за другой. Таксист только

поддакивал. Я отказался заходить в здание, а Псих зашел. Он был совершенно раздавлен (67).

Я пережил еще одну серьезную травму. Я потерял ее дважды. Первый раз — когда переселился к тете. А второй раз — в семнадцать лет, когда она по-настоящему, физически умерла. Потрясение стало для меня слишком сильным. Мне пришлось по-настоящему нелегко. Меня душила горечь. А еще тяжелее было вспоминать о том, как мы ладили в последнее время. Я был подростком, играл рок-н-ролл, изучал живопись, а моя мать погибла как раз в то время, когда наши отношения с ней наладились (80).

Мне было легче говорить "мамы нет", чем "мама умерла" или "была не очень-то добра ко мне" (большинство из нас помнит о родителях именно то, чего не получает от них). Конечно, и это срабатывало не сразу, но становилось легче. Прежде всего надо было осознать, что случилось. Я так и не дал себе осознать, что мама умерла. Это все равно что позволить себе расплакаться или что-нибудь почувствовать "Некоторые чувства слишком мучительны" поэтому их избегаешь. Мы наделены способностью сдерживать свои чувства, именно этим мы и занимаемся почти все время. Теперь все эти чувства, которые я испытывал всю жизнь, получили выход. И они продолжают изливаться. Наверное, все-таки не каждый раз, когда я беру в руки гитару, я пою о матери. Полагаю, теперь мои чувства нашли и какой-то другой выход (70).

Любой вид искусства — это муки боли. То же можно сказать и о жизни. Это касается всех, но в первую очередь художников, потому их вечно и осуждают. Они гонимы, потому что демонстрируют боль, просто не могут сдержаться. Они выражают ее в искусстве и в своем образе жизни, а люди не понимают, что страдать их заставляет реальность.

Только дети могут вместить всю боль сразу. Она буквально отключает какие-то части тела. Это все равно что не замечать, что нужно ходить в туалет или в ванную. Если терпеть слишком долго, все накапливается. То же самое происходит и с эмоциями: за годы они накапливаются, а потом вырываются наружу в той или иной форме — в виде насилия, а то и вовсе облысения или близорукости (71).

Лет в семнадцать я даже принял первое причастие, причем по причинам отнюдь не духовным. Я думал, что мне лучше сделать это, так, на всякий случай, если вдруг я не выстою (69).

Я всегда подозревал, что Бог существует, даже когда я считал себя атеистом. На всякий случай. Я верю в него, поэтому я исполнен сострадания, но это не мешает мне что-то не любить. Просто теперь я ненавижу менее яростно, чем прежде. Мне на многое наплевать, потому что кое-чего я уже избежал. Думаю, всем нашим обществом правят безумцы, преследующие безумные цели. Вот что я понимал и в шестнадцать, и в двенадцать, но в разные периоды жизни я выражал свое понимание по-разному. Все это время чувство оставалось тем же, просто теперь я могу облечь его в слова. Нами, похоже, правят маньяки, и цели у них маниакальные. Скорее всего, за такие слова меня сочтут безумцем, но в этом-то и заключается безумие (68).

Мне не страшно умирать. Я готов к смерти, потому что не верю в нее. Это все равно что выйти из одной машины и пересесть в другую (69).

В колледже я вредил самому себе, как только мог (80). Я пьянствовал и разбивал телефонные будки. По улицам Ливерпуля, за исключением пригородов, следует ходить вплотную к стенам. Добраться до клуба "Кэверн" ("Cavern", "Пещера") было нелегко иногда даже в обеденное время. Там надо всегда быть начеку (75).

Все это напоминало один длинный запой, но в восемнадцать или девятнадцать лет можно пить без передышки и при этом не слишком вредить своему организму. В колледже я часто злоупотреблял спиртным, зато у меня был друг по имени Джефф Мохаммед — Господи, упокой его душу! — который уже умер. Он был наполовину индийцем, ему нравилось играть роль моего телохранителя. Когда назревала ссора, он помогал мне выпутаться (80).

Все засиживались в клубе "Джакаранда" ("Jacaranda"), который находился возле колледжа искусств, в центре Ливерпуля. Мы частенько бывали там еще до того, как создали настоящую группу, — в то время нас было трое: я, Пол и Джордж (74).

Первой мы записали песню "That'll Be The Day" ("Настанет день") Бадди Холли и одну из песен Пола, под названием "In Spite Of All The Danger" ("Несмотря на всю опасность") (74).

Я становился увереннее в себе и все меньше обращал внимание на Мими. Я подолгу где-нибудь пропадал, носил одежду, которая мне нравилась. Мне приходилось брать деньги взаймы или красть их, поскольку в колледже я ничего не получал. Я часто подбивал Пола плюнуть на мнение его отца и одеваться так, как ему самому хочется (67).

Но он не хотел ссориться с отцом и не носил брюки-дудочки. А его отец вечно пытался выжить меня из группы, действуя у меня за спиной, о чем я узнал позднее. Он твердил: "Почему вы не отделаетесь от Джона? С ним только хлопот не оберешься. Подстригитесь как следует, носите

нормальные брюки". Я дурно влиял на остальных, потому что был старшим, и все стильные вещи в первую очередь появлялись у меня (72).

Я вел суровую жизнь в грязной квартире [на Гамбьер-Террас]. Мы провели там месяца четыре. Мы репетировали и рисовали. Квартира напоминала свалку. Мы жили там всемером. Условия были ужасными, никакой мебели, кроме кроватей. Но поскольку чаще всего мы валялись там дурака, никто не считал эту квартиру домом. И если кто-то еще пытался хоть как-то привести ее в порядок, то мы до этого не унижались — правда, однажды я купил кусок старого ковра или что-то в этом роде. Там я оставил все свое барахло, когда уехал в Гамбург (63).

У меня был друг, настоящий маньяк блюза, он приобщил меня к блюзам. Мы были ровесниками, он знал толк в рок-н-ролле, знал песни Элвиса, Фэтса Домино и Литтл Ричарда, но говорил: "А теперь послушай вот это". Моя любовь к рок-н-роллу не угасла, но к ней прибавился вкус к блюзу (80). Блюз — это настоящее. Не извращение, не мысли о чем-то абстрактном, не просто чертеж, скажем, стула — это самый настоящий стул. Не стул получше или побольше, обитый кожей или еще какой-нибудь, — это всем стульям стул. Стул для того, чтобы сидеть на нем, а не для того, чтобы смотреть на него и восхищаться. На этой музыке "можно сидеть" (70).

В колледже мы часто играли блюз. Рок-н-ролл нам позволили играть не сразу, и во многом благодаря тому, что мы играли блюз. В студии звукозаписи колледжа разрешали играть только традиционный джаз, поэтому я попытался войти в комитет, чтобы у нас была возможность играть рок-н-ролл. А снобов мы заставляли заткнуться, играя блюз Лидбелли, и все, что там еще было в те времена (69).

С Синтией я познакомился в колледже искусств.

Синтия была настоящей коротышкой. И чванливым снобом до мозга костей. Мы с Джеффом Мохаммедом часто подтрунивали над ней, высмеивали ее. "Тише! — кричали мы. — Хватит выражаться! Здесь Синтия".

Нас учили танцевать. Набравшись духу, я пригласил ее на танец. Джефф пошутил: "Знаешь, а ты ей нравишься". Пока мы танцевали, я пригласил ее на следующий день на вечеринку. Но она отказалась. Она была занята.

Когда я понял, что подцепил ее, то возликовал. Мы выпили и отправились к Стю [Стюарту Сатклиффу], по дороге купив рыбы с жареной картошкой.

Я был истеричным парнем, и это доставляло немало хлопот. Я ревновал ее ко всем и каждому, требовал от нее абсолютного доверия, потому что сам не заслуживал его. Я был нервным и выплескивал все свое раздражение на нее. Однажды она бросила меня, и это было ужасно. Без нее я не мог жить.

Два года я провел в состоянии слепой ярости. Я или пил, или дрался. Все это повторялось и с другими моими подругами. Видимо, что-то со мной было не так (67).

В моем образовании есть немало досадных пробелов; по сути, мы научились только бояться и ненавидеть, особенно противоположный пол (78).

Подростком я видел много фильмов, в которых мужчины били женщин. Это было круто. Именно так и нужно было поступать. К примеру, чуть что — отвесить пощечину, грубо обращаться с ними и все такое, как это делал в фильмах Хамфри Богарт. С таким отношением к женщинам мы выросли. Мне понадобилось много времени, чтобы избавиться от этого. Все должно быть не так.

Когда я начал кое-что понимать, я вдруг задумался; "Что было бы, если бы я сказал Ринго, Полу или Джорджу: "Поддай то, принеси это. Поставь чайник. Открой дверь — звонят..." Если относиться к лучшему другу-мужчине так, как ты относишься к своей женщине, он сразу закатиет тебе оплеуху (72).

Мое детство вовсе не было непрекращающимся страданием. Мы видели статьи в американских журналах для фанатов и читали: "Эти ребята вырвались из трущоб". А я всегда был хорошо одет, сыт, образован, принадлежал к низам среднего класса, был обычным английским мальчишкой. "Битлз" отличало то, что и Джордж, и Пол, и Джон закончили среднюю школу. До тех пор все музыканты, играющие рок-н-ролл, были чернокожими и нищими, выросли в южных деревнях или городских трущобах. А белые водили грузовики, как Элвис, или работали на фермах. Бадди Холл и был больше похож на нас, он вырос в пригороде, умел читать, писать и знал еще кое-что. А "Битлз" получили неплохое образование, нам не пришлось водить грузовики. Пол мог бы поступить в университет — он всегда прилежно учился, сдавал все экзамены. Он мог бы стать... ну, не знаю, скажем, доктором Маккартни. Я сам мог бы стать таким, если бы трудился. Но я никогда не работал (80).

Иногда я думаю о друзьях, которые закончили школу вместе со мной, после чего я принял решение

поступить в колледж искусств. Некоторые из них сразу начали работать с девяти до пяти и уже через три месяца выглядели стариками. Такое вполне могло случиться и со мной. К счастью, я ни разу не работал в конторе или другом подобном месте. Мне нравится жить экспромтом, я терпеть не могу строить планы на будущее.

Кто знает, почему появились "Битлз"?

Это все равно что постоянный поиск ответа на вопрос, почему ты выбрал ту или иную дорогу. Ответ имеет отношение к детству, проведенному в Ливерпуле, к учебе в средней школе "Куорри-бэнк", к жизни в доме, где в шкафах стояли тома Оскара Уайльда, Уистлера, Фицджеральда и все книги "Ежемесячного клуба" (80).